

17.03.05
Радзинский А.С.
Русский курьер. 2005. — 17 марта. — с. 28-29

Интервью номера

Характер у рыжекудрого (увы, облетающего уже) говоруна поистине золотой, то есть, казалось бы, мягкий, однако ревность, зависть или равнодушие коллег не оставляют на нем сколь-нибудь заметных царапин. Не до интриг. Работы много. Закончен роман про Александра II. Готовится к показу новый сериал на Первом канале.

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ

— Эдвард Станиславович, я тут побывала на вашем сайте, заглянула в гостевую книгу. Очень уж там все благостно и комплиментарно. Как у Киркорова. Только что Лучезарным не называют. Вас не смущает такая оголтелая похвальба?

— Не смущает. Просто многие пишут на сайт, но просят не ставить их сообщения в гостевую книгу, и это читаю только я. Самое интересное в итоге в гостевую книгу не попадает. Студент духовной академии пишет, что из моего он больше всего любит «Продолжение Дон Жуана», представляет? Налоговый инспектор дает разгромную характеристику всему, что сейчас происходит — не только в России, в мире вообще. Дневники свои люди присылают...

— Ты говоришь — Киркоров. Так недаром же многие города просят меня приехать и выступить. Я спрашиваю: кто придет? Они говорят: придут молодые люди. Как они пришли в Москве в зал Чайковского, заплатили по 1300 рублей за билет. Причем, я не уверен, что им всем это легко далось, наверняка они от чего-то отказались, чтобы туда прийти. Полно народа было из других городов, специально приехавшего. Есть определенная группа молодежи, большая, я готов уверять сейчас, что очень большая, у которой действительная жажда Слова — с прописной буквы. Это и есть авангард поколения. А поколение определяет авангард, а не было.

Мне иногда кажется, что я занимаюсь сизифовым трудом, качу этот камень в гору совершенно бесполезно. Зачем? Мне есть чем заняться — я роман пишу, у меня несколько пьес готовы. Но вот это ощущение необходимости, оно очень будоражит. Если говорить о любви ко мне, то я думаю, что дело не во мне, а в отсутствии другого. Другого нет. А им нужен такой человек. Ведь я действительно очень большую группу людей привлек к чтению. И это не спинозы, это молодые люди, которые случайно посмотрели передачу или им случайно попала в руки книга, а они думали, что все было совсем не так и что так вообще сейчас не пишут. Улица корчится безызыкая, понимаешь? Так называемая экспериментальная литература не может заставить их думать. А им нужно. Людям свойственно думать и свойственно иметь какие-то идеалы, особенно в молодости. Катастрофа поколения в том, что у него нет сейчас властителя дум. Конечно, странно было бы мне принимать на себя эту роль. Властитель дум должен быть...

— Внутри поколения.

— Да. И не скандальным, нет, скандальных сейчас пруд пруди. Резко альтернативным, потому что воистину духовным. Понимающим силу Слова. В весьма поучительной старой басне говорится: в ад попадают самый страшный убийца и популярный писатель, отравивший своими идеями целое поколение. Проходят столетия, костер убийцы погас, а у писателя горит. Тот возмущается: почему так? Ему отвечают: «Имя убийцы давно забыто, и дела

его давно забыты. А тебя помнят. Так что гори!».

Властитель дум всегда немного политик. Или много политик. А я занимаюсь литературой, я никогда не занимался политикой. Кто борется с обстоятельствами, тот становится их рабом.

— Вы чувствуете с чьей-либо стороны отторжение, неприязнь, даже агрессию?

— Я ее не чувствую, но я о ней знаю.

— Такие люди вам не пишут?

— Они не пишут или пишут мат, и его выбрасывает администратор сайта. Пишут: ... твою мать, я думал, это кино, а ты х... какую-то мне читал!.. Но этого человека можно понять. Он действительно обижен. Он ругается не потому, что он меня лично не любит, а потому что обмануты его ожидания. Ему менты нужны, а тут какой-то дядя про Чаадаева рассказывает.

— А на более высоком уровне?

не выпускает Гарвард? Они заявляют ее как самую полную биографию Сталина на сегодняшний день.

— Это еще одна попытка превратить Мучителя в Грозного. Они могут заявлять что угодно, но это останется в Гарварде. Чтобы книга выдержала три издания — а мой «Сталин» в Америке издавался в твердой обложке, в мягкой обложке и покот-буком, — надо быть писателем. Я делал портрет Сталина с точки зрения человека, который жил здесь. И я попытался дать не только его биографию, но и его образ. Человеку из Гарварда, к сожалению, это не дано. Или к счастью. Для этого надо иметь счастье, в скобках несчастье, родиться в стране, где он был.

— Это то же самое, если я возьмусь писать биографию Рузвельта. И сообщу, что это будет самая полная из всех существующих ныне биографий. Она и будет полная. Для

Сталин, Ленин, Казанова, Александр II, последний из Романовых, Анатолий Эфрос, Никита Михалков, Татьяна Доронина и другие в двухсерийной премьере «РК»

Радзинская

России. Но как станут смеяться над ней американцы... Когда я писал книгу о Сталине, я написал о коварном, хитроумном Черчилле и прохладным демократом Рузвельте. И получил замечание от своего американского редактора: «Более коварного и изощренного политика, чем Рузвельт, представить себе трудно».

— Такой милый, интеллигентный человек...

— Он и был милый. Но также изощренный и хитрый. Он политик. Это как с Иосифом Виссарионовичем. Иосиф Виссарионович, конечно, велик. Но каков злодей! Вот и все определение.

— Вы смотрели «Вечерний звон» Юрского?

— Меня приглашали на премьеру, но я тогда улетал. А второй раз уже не пригласили... Но я посмотрю с удовольствием. Юрский прочел моего «Кобу» на аудиокассете. Очень хорошо прочел, в этом чувствовалась подготовка к роли.

— Спектакль, точнее, пьеса, построен на медицинском диагнозе. Причем Сталин там даже не параноик, как якобы его характеризовал Бехтерев, а шизофреник. Раздвоение личности. У вас в книге этой версии посвящен один абзац, совершенно уничтожительный. Вы в сталинскую паранойю не верите?

— Это вне обсуждения. Иначе получится фантастическая история параноика, который обманул весь мир. Параноика, у которого было прекрасное чувство юмора. Оно иногда было страшным, но было.

Даже в приговорах. Человека, у которого была японская кличка, осудили как японского шпиона. Того, кто разрабатывал золотоносные приiski, после суда отправили на эти приiski... Иосиф Виссарионович посылал такие «приветы». Он всегда немножко играл в судьбу.

И еще он был великий актер, как многие диктаторы. Беседовавший с Бернардом Шоу, Роменом Ролланом, Фейхтвангером и всех очаровавший. Он мог проводить человека, закрыть за ним дверь и сказать: какой подлец. А до этого лил мед. Он понимал, как надо льстить, и льстил изумительно. Он все время менялся.

— Но у него была мания преследования?

— Он знал себя и от того боялся других. Он был восточный человек и не мог это преодолеть. В кавказской семье, если ты убил отца, бойся сына. Это очень серьезно. И он сказал эту фразу, что Иван Грозный не дорезал боярские семейства и потому было Смутное время. Он в это верил. Он верил в абсолютную революцию, которая должна убить всех. Он верил, что уничтожать надо по-восточному — тотально. Как уничтожали восточные завоеватели, Тимур и так далее, вырезая целые города. Как уничтожал Иван Грозный — истребил Новгород. И при этом, как Иван Грозный, Сталин пропустил главный заговор против себя. В том, что его отравили, сомнений нет. И так и должно было случиться. Радикал Ленин открывает средневековую лабораторию ядов и потом просит яд. Потом Иосиф Вис-

сарионович, видимо, отравил этим ядом Крупскую. Но Иосиф Виссарионович, видимо, и погиб от инъекции яда.

Возмездие в истории есть всегда. Оно бывает разным, оно не всегда очевидно на первый взгляд, и поэтому вместо того, чтобы ощущать во всем Божью волю, люди думают, что у Сталина была паранойя.

Иосиф Виссарионович был наказан собственным страхом. Страхом, который он сам породил и который начинает управлять всеми. Как в Риме. Этим городом, говорит Нерон, правлю не я и не боги, а Страх. И в городе Страха, как пишет римский историк, постепенно перевелись люди. Остались только мясо и кости людей. Страх был всеобщий. Это же не то, что один Иосиф Виссарионович боится, а все остальные смелые. Боятся безумно все. Боятся детей, боятся сказать слово, боятся во время съездов перестать аплодировать первыми. Вся страна одержима страхом. Вот что интересно. А не то, что Иосиф Виссарионович болен паранойей.

У него многонациональная страна, и он не знает, как ее удерживать. Всякий вожь в республиках мечтает о сепаратизме, значит, надо держать человека до определенного предела, а потом убирать и брать нового, который мечтает не о сепаратизме, а мечтает служить. И это управление при помощи наказания порождает общий страх. Сталин начинает им заражаться. Он понимает, что он столько убил, что кто-то же должен

убить его. Он окружен Поскребышевым, у которого сидит жена, Молотовым, у которого сидит жена, Ворошиловым, у которого ТАМ родственники, Буденным, который сам отвез свою жену... В ложе нет женщин. Он всех лишил жен. Непонятно, почему он их всех вообще, согласно восточной логике, туда не отправил... Но он думает, и в этом его логика: сидит жена — боится муж. Боится и служит. Молотов отрывается от жены, хотя любит ее. И она его понимает, потому что, вернувшись, с ним живет.

Сталин не параноик, он жертва страха. Это не сумасшествие, а нормальное состояние, в которое погружена вся страна. Причем погружена до сих пор.

— Как в эту кошмарную картину вписывается чувство юмора? Я, кстати, вспомнила: Искандер писал, что у всех большевистских вождей юмора не было.

— У Иосифа Виссарионовича было. Шутки, конечно, туповатые: дураки-мураки...

— Ну это чисто кавказское: шашлык-машлык.

— Он веселый. Смешливый. Все время смеялся. Они постоянно шутили. Но этот юмор становится висельным постепенно.

Иосифа Виссарионовича очень трудно написать. И еще труднее сыграть. Сейчас вот в «Современнике» сыграл Кваша.

— В вашей пьесе?

— Нет, в чужой.

— И в Малом театре, говорят, готовится спектакль о Сталине. А с телевизора он теперь вообще

ИРИНА КАЛЕДИНА

не сходит. Что это за второе пришествие?

— В 92-м году, когда я сразу после Николая собрался писать о Сталине, все хохотали. А я сказал: ничего, я закончу года через три, и он тогда будет участвовать в предвыборной кампании. А 95-м, в день, когда книга была закончена, я вышел на улицу и увидел демонстрацию, идущую с его портретами... Сейчас я тоже пропущу всех, а потом напишу о Сталине роман. Или повесть. Я его чувствую абсолютно. Я был им два с половиной года. Я знаю, как он ходит, как он спит днем, как лежит на кунцевской даче, прикрывшись от солнца фуражкой, знаю, какие сапоги он носил, почему работал только в одной комнате, понимаю отношения его с этой женщиной...

— С горничной?

— Да, с Истоминой. Я его безумно понимаю, понимаю систему его мышления. Он азиатский Наполеон, он востребован русской революцией. Если тот — просвещеннейший диктатор, просвещеннейший, но диктатор, потому что муха не могла пролететь без его позволения; он вешал настоящих монахов спокойно, он расстреливал книгопродавцев — он диктатор. Но диктатор, который пишет устав «Комеди-Франсез»; который может сказать даме, узнав о политическом предательстве ее мужа, а она стоит на коленях — он разрывает бумагу и говорит: теперь у меня нет доказательств, и, к сожалению, ваш муж свободен... Это итальянец, это средиземноморский человек. А Сталин угрюмый, наш, порождение Востока, порождение кочевников. Но только он мог усмирить русскую революцию. Если бы не он, был бы другой такой же. Ни Троцкий, ни Ленин не годились на эти роли. Ленин не мог усмирить революцию, как бы ему ни хотелось. Сколько бы он ни пыжился

немногих, не шел в прайм-тайм никогда, а здесь вдруг ба-бах! Дикие проценты рейтинга, я уже не мог спокойно ходить по улицам, потому что люди кричали: вы не правы!.. Или: вы правы!.. Все время разгорался митинг.

Первая книга о Николае ведь тоже была моя. После этого пошла николаниана. Все стали писать о Романовых, заниматься Романовыми. И говорить, как я хитер, как я попадаю в запросы времени. А я не хитер, я просто все это делаю РАНЬШЕ. Николай был готов к перестройке, мне оставалось только его опубликовать.

Сталинский бум в театре быстро закончился. Выпустят пять спектаклей, в одних будут разоблачать, в других — намекать, что он все-таки много полезного сделал. Самое интересное — это уроки. Насколько страна вышла сейчас из-под сталинской шинели. Для этого, конечно, нужен рассуждающий Сталин. Те мысли, которые я видел на полях

ним не воспользовался. Он уже жил с тем трудным непонятным куском, который сам просил переделывать. Он его присваивал. Были неудачные у нас спектакли, типа «Турбазы», несмотря на присутствие великих актеров. Я шел в символическую, в глобальное, а Эфрос этого не любил. Его пугали размышления о судьбах мира, он предпочитал размышлять о судьбах людей за столом, чтобы в итоге получалось — о судьбах мира. Поэтому он так хорошо ставил Чехова...

Будь Эфрос жив, я бы все ему отдал сразу. И он бы все взял. Все. Ругался бы дико, кричал... Он кричал иногда на меня страшно, но брал, потому что через пять минут уже этим заболел. Читает, ему не нравится, он звонит, ругается, но я уже знаю, что к вечеру возьмет. А так — ну выйдет еще один спектакль. Ну будет его смотреть. Зачем? Хочется в театр, конечно. Но до тех пор, пока спектакли не сморщишь. Посмотришь спектакль — сразу

— Для Михалкова. Он играет Александра III, а должен играть Казанова в старости. У которого ничего не было, а он всех дулит. Никита гениальнейшим Хлестаковым — не просто хорошим, такого Хлестакова на русской сцене не видели. Он великий актер на эти роли. Вершина русского актерского кинематографического мастерства — второстепенная роль проводника в не понравившемся мне фильме. Все дико фальшиво, в середине этого — человек, сыгравший целую эпоху. «Быстро, быстро, быстро...» — как он там говорил?

— «Сама, сама, сама...».

— Ну гениально же!.. Он блистательный характерный актер.

— Но у него внешность героя.

— А Казанова и должен быть красавцем. Высокий, с гордым профилем, с фальшивыми орденами и драгоценностями...

— То есть вы считаете, что Казанова — это характерный персонаж?

— Все-таки кому вы отдадите «Палача»?

— Только не для записи. Отдам, наверное, ...

— ...Отличный выбор. Дай только бог ему здоровья, а так он прекрасно это сделает.

— Да, у него это будет по-настоящему, мучительно. Но ему нужен год, чтобы труппа освоила эту гигантскую махину.

— Что тут гигантского — 86 страниц? У вас про любовь было сто четыре.

— Там персонажей штук шестьдесят... Ну не шестьдесят — тридцать, да еще народ.

— Площадка нужна большая.

— Да не нужна. Здорово, если народ будет играть одним человеком.

— Вы, кстати, слышали, что у Татьяны Васильевны Дорониной театр хотят отобрать и отдать таким-то? Тоже по секрету...

— Нет. Неужели?

— Слухи ходят, во всяком случае.

Мне все время кажется, что нам вот-вот скажут: прощу на выход, закрывается. Мир близок к этому абсолютно. Если сегодня взрывают десять вагонов, значит, в следующий раз они возьмут ядерную бомбу. Они возьмут ее

книг, когда он что-то подчеркивал...

Борто меня просил написать сценарий. После «Идиота» он хотел снимать про Сталина. Но я сказал, что я не готов. У меня есть пьеса о Сталине, давно есть, года полтора. У меня несколько готовых пьес, и их количество все время увеличивается. Но мне жалко отдавать их в театр.

— А сидеть на них не жалко?

— Я сижу правильно. Раньше я отдавал, выходили спектакли, но это были не мои пьесы. Однажды приехал в ленинградский театр, сижу за кулисами, слушаю по транс-

зу не хочется. Начинаешь представлять свое там...

— Новые пьесы даже не публикуете? Чтобы у режиссеров соблазна не было?

— Правильно догадались. Мне хочется дождаться, — а если я не дождусь, чтобы мои пьесы дождались того постановщика, у которого будет та же нервная система. Нужен даже не Эфрос, потому что он не занимался историческим театром, а у меня пьесы исторические, кроваво-исторические...

— Да, ведь вы написали пьесу «Палач» про Сансона. Кажется, единственная вещь для театра, которую вы сегодня не прячете.

— Это даже не пьеса, это драматическое повествование. Жанр, мне не свойственный. В ней 86 страниц. Это огромное бесформенное повествование о крови. Народ, как паяц, который делает революцию, веселится, потому пускает кровь, потом раскаивается, потом не понимает, кто это сделал, и так далее. Гигантская фреска. Возможно, я отдам ее одному режиссеру, но тогда это надо ставить год, он прав. В его театре это должно быть содержанием жизни людей, которые будут в этом участвовать. «Палач» обольщает многих, но они не знают, что с ним делать. А я в свою очередь не хочу превращать его в обычную пьесу. Я знаю, как писать реплики, все-таки драматургия — моя профессия, основная, наверное, но тогда я потеряю все, ради чего я это делал.

— Есть в ваших запасниках хоть одна современная пьеса? О нормальных людях?

— Одна есть. Но не о нормальных, потому что сейчас все ненормальное. Сейчас время ненормальное. Безумная история, которая начинается диалогом: «Мне очень хочется вернуться в наш город. — Ты ведь из него и не уезжал. — Вот это меня больше всего и беспокоит. Мне очень хочется вернуться». Все время доходят до абсурда, но абсурда понятного и смешного. Таков нынешний мир. Так я его чувствую. Ад, где написано «Валя и Ося здесь были».

Мне все время кажется, что нам вот-вот скажут: прощу на выход, закрывается. Мир близок к этому абсолютно. Если сегодня взрывают десять вагонов, значит, в следующий раз они возьмут ядерную бомбу. Они возьмут ее. Раз она есть, значит, возьмут, раз ее можно сделать, значит, сделают.

— Вам не нравится современная режиссура. Но, может быть, есть актеры, для которых вам хотелось бы что-то написать?

— Конечно! Это человек так и писал о себе впоследствии: сочинитель. В старости он сочиняет историю, которая большей частью состоит из анекдотов и из придуманных положений. Человек, который у него подсматривает в щелочку за двумя монахинями, в то время не был посланником в Венеции. Дама, которую он превращает в старуху, в это время была молода. А дальше идут известные анекдоты: скажем, когда в темноте кареты он берет руку мужчины и начинает ее ласкать, думая, что это рука его жены... Это знаменитые галантные истории, и он их невероятно часто использует.

На старости лет он понял, что надо рассказывать о победах. И выбрал историю д'Артаньяна, только в постели. Поэтому он и ставит точку в момент своего тридцатипятилетия, потому что старый д'Артаньян, как старый соловей, плохо воспринимается публикой. И он делает эту историю необычайно моральной. Начинается с того, что Казанова отбивает у пожилого человека молодую женщину, заканчивается тем, как молодой человек отбивает женщину у него самого. Возмездие наступило. Моралите. Это не прерванная книга, это законченная книга.

— Так что, у Казановы не было любовных приключений?

— У него были приключения, но не было восьми сифилисов к 35 годам, потому что хорошо за семьдесят он все помнил. Если бы у него было столько сифилисов, у него от мозгов ничего бы не осталось. Фактически Казанова — это второй Руссо. Он рассказывает о себе. Исповедует. Подполье мужчины: сифилис, холодно, негде помочиться... Плутской роман чистой воды.

Это самый современный способ существования — характерный. Герои чудовищны. Я бы написал сценарий, если бы Никита сыграл...

— Вы ему не предлагали?

— Не предлагал. Он все равно не будет. Он занят сегодня серьезными вещами. Боюсь, вместо самой серьезной — сделать то, что, кроме него, никто не может. Он ведь десяти доли не сыграл, у него такая потенция сумасшедшая, он весь фонтанирует...

— А что бы вы предложили Табакову?

— Бомарше. Я и должен был для него это сделать. Но пока не вижу там режиссера.

— Все режиссеры, которые на данный момент наличествуют в природе, сомнаны у Табакова.

— Они наличествуют, но они мне не нужны.

чае. Вот вы как к этому относитесь?

— Очень плохо. Это хамство, если такое случится. Но, надеюсь, у них ничего не выйдет. Все-таки это единственный театр, который такая большая партия поддерживает.

— А Губенко?

— Губенко для них — Губенко. А она — это она.

— Кстати, лет десять назад Любимов вашего «Палача» классно бы поставил...

— Ой!.. О чем вы говорите!.. Он блестяще бы поставил. Представляю, как бы он загорелся всеми этими штуками — изобретение гильотины, телега, которая все время ездит по сцене. Я ведь с ним начинал «104 страницы про любовь», но Эфрос отнял пьесу.

— Что за сериал у вас стартует на днях на Первом канале?

— Это называется «Дом Романовых. Любовь и смерть». У меня была фраза: «Никогда мне не закончить эту книгу», — такие фразы надо осторожно писать. Тема держит все время. Возвращается ощущение этих людей, ощущение быта в царском дворце, и ты начинаешь вдруг понимать то, чего прежде не понимал.

Скажем, я написал, как писали все: она плакала, когда он, которого она безумно любит, предлагает ей стать его женой. И она объясняет, что плакала, потому что надо было переменить религию...

Или: Александр III был против их брака, писали историки, по политическим соображениям...

Если бы человек нормальный и разумный, вы скажете: да как это она боялась поменять религию? Ее родили для этого. У нее только что сестра это сделала. И все ее прапра... меняли религию. Она из того же Гессен-Дармштадтского царства, из которого и мама Александра III, поменявшая религию.

— По-моему, это вообще несопоставимые вещи — любимый человек и смена конфессии.

— Сопоставимые, если она из монастыря. Но она рождена, чтобы выйти замуж. Ее работа в мире — выйти замуж за монарха какой-то страны и родить наследника.

Теперь Александр III. Что значит: поменялись политические соображения? Простите, на протяжении двухсот лет политические соображения менялись, но прусские принцессы в кровати русских императоров оставались. С кем бы ни был союз. Так положено, это уже опробовано, они все родственники. Значит, было что-то не то. Вот что именно было НЕ ТО, этим я и занимаюсь в сериале. Еще меня интересовал стран-

ный паралич власти. Бросаются от «России нужен кнут» до полного безразличия к тому цунами — иначе не назовешь, о котором кричат все. Царь ведь не отгорожен от мира. К нему все время идут депутаты его собственной семьи.

Еще одна вещь. Оказывается, был решен вопрос о суде над царской семьей. Почему и как эта идея была похоронена и почему вместо этого было сделано самое глупое, — истребление царской семьи, надевавшее на их головы корону мучеников? Почему большевистские вожди — а это были самые умные люди в истории большевизма, не поняли такую элементарную вещь?..

Ну и целый ряд других вопросов. Но еще у меня была одна задача — мне было интересно немножко приблизиться к театру. Не как раньше: я говорил, и была документальная картинка. А тут недокументальная картинка, образная...

— Похоже на «Русский ковчег»?

— Может быть, и похоже... Я снимался на сцене Юсуповского театра. В доме, где их тени. Я чувствовал эти тени. Как только я начал говорить, погас свет, и никто не мог понять, что происходит. А я сказал совершенно спокойно в темноту: как погас, так и зажжется. И он зажегся.

Эта сцена, этот залчик, где все они были, ложа, где сидел Николай, подо мной подвал, где убивали Распутину, — мне интересно, что в итоге получилось. Удалось ли сохранить эффект присутствия, то, что за занавесом истории, то, что мерещится...

Я привел однажды Тонино Гуэрра на «Сократа». Он говорит: о, какая премьера, сколько людей!.. Я говорю: какая премьера?! Спектакль идет уже 14 лет. Он говорит: как, 14 лет идет, и они ничего не меняют?! Так нельзя. Надо меняться. У меня все в порядке с рейтингом, со зрительями, но мне интересно художественно попробовать что-то новое.

— Ваше отношение к Николаю, которое в книге имело явный оттенок сусальности, за эти годы не изменилось?

— Я писал книгу, когда последнего царя называли не иначе, как Николай Кровавый. Я писал в полемику — о человеке, которого зверски расстреляли, не дав ему последнего слова. И я взял на себя задачу — написать как бы от его лица. Вся книга — это его дневник, это его глаза.

В чем был пафос истребления царской семьи? Это ведь сделали не злодеи. Это сделали глубоко верующие в революцию люди. С ощущением полной собственной правоты они убивают не только царя и царицу, которые есть для них символы зла, а убивают врача, исполняющего свой долг. Убивают слуг, во имя которых и делалась революция. Детей, которые являются все-таки невинными. Как это могло быть? Что такое революция?

Я очень не люблю тупых осуждений. Когда народолюбцев называют террористами, убийцами. Это неправда. Они террористы, но другие. Они убийцы, но другие.

— Но ведь и нынешние вроде бы убивают не просто так, а за идею.

— Нынешние — убийцы. Все-таки Калаяев не бросает бомбу, потому что в карете двое детей. Он не может этого сделать. Но пролитая кровь постепенно превращает людей в убийц. Они начинают жизнь идеалистами, а заканчивают нечестивыми. Кровь меняет человека. Поэтому Желябов хохочет, когда ему говорят, сколько людей погибло при взрыве на вокзале, когда убили Александра II. Как ни странно, смеется благороднейший человек. Кто-то всю свою жизнь, жизнь очень талантливого человека, загубил ради высших целей. И тогда прокурор говорит эту фразу: когда люди плачут, желябовы смеются...

сага

быть жестоким, он старался, он и был, но — отвлеченно жестоким.

— На словах.

— На делах, которые делали другие. А Иосиф Виссарионович лично следил, чтобы все было чисто.

— Неужели Сталина и сегодня призвали на усмирение революции?

— Я думаю, он есть внутренняя альтернатива воровству, беспределу чиновников. Бессребренник, у которого были одни сапоги, один мундир. Когда умер, нашлись пакки денег, которые крала охрана. Его все боялись, но деньги крала. Кроме того, он символ империи, ее мощи, ее силы. И для многих он так и будет бронзоветь. А то, что он делал с людьми, отходит на второй план. Родается поколение, для которого это просто неправдоподобно. Как можно — взять и депортировать целый народ? Наверное, врут. Или было за что...

Мы живем кампаниями. В России будут ставить Чехова до тех пор, пока не вырвет при слове «Чехов».

— Уже.

— Кто-то первым понимает, что Чехов надобен, что Сталин надобен, дальше уже идет поток. В 95-м году мою книгу можно было сразу издать тиражом 10 миллионов, все равно бы раскупили. Стоял ОМОН в Доме кино, где я выступал, и, как сказал директор, впервые со времен Тарковского им пришлось открыть какие-то заколоченные балконы. Потом я сделал сериал, с которым и появился фактически на телевидении, потому что до этого я был, что называется, элитарен, для

лации какой-то спектакль. Вроде бы текст знакомый. Я подумал: «Похоже на Эсхила... Все-таки хреново писал Эсхил...». И вдруг понимаю, что это «Нерон и Сенека».

Мои пьесы умерли вместе с Эфросом. Хотя он ставил не мои, а наши пьесы. При всех различиях у нас была почему-то одинаковая нервная система. Он читал на труппе «Снимаются кино», там была ремарка: «Он стоит перед зеркалом один и показывает себе язык». Эфрос плакал. Для него это был апофеоз одиночества: человек, гримасничающий перед зеркалом. Артисты вышли в недоумении: во-первых, все непонятно, скучно, и он чего-то плакал в каком-то странном месте... А там еще была «песня индейцев», как я ее называл. «В день нашей смерти приходит ветер стереть следы наших ног на песке. Ветер несет с собою пыль, которая скрывает следы, оставшиеся там, где мы прошли. Потому что, если было бы не так, то было бы, будто мы еще живы. И поэтому ветер приходит стереть следы наших ног на песке». Тут он тоже заплакал.

— Еще бы... Разрешите, я плачущего достану...

— Я назвал это «песней индейцев», чтобы прошло через цензуру. А, может, это и есть песня индейцев. У меня иногда всплывает неизвестно что, непонятно откуда. Талант возьмет свое и чужое тоже... Эфрос удивительно все эти штуки мои, фиговины, понимал. И даже когда я пытался что-то переделывать для него, по его же просьбе, он потом ни разу этим переделан-